

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Иностранец Липатка и помещик Гуделкин

«Лицо Липатки... носило заграничный отпечаток. В нем как-то странно соединились: английское высокомерие, французская бородка и немецкий стеклянный взгляд... Русское же происхождение отозвалось только толстым и добродушным носом, напоминавшим луковицу. А щеки казались искусственно вздутыми, так они были пухлы...»

**Александр Иванович Эртель
Иностранец Липатка и
помещик Гуделкин**

Прекрасной души человек был Ириней Гуделкин! Великолепнейшие чувства беспрерывно питал он! Великодушнейшее имел он сердце! И, ко всему к этому, благоговел перед всем прекрасным. Так, например, цвета он уважал не иначе как нежнейшие. Если на нем были панталоны, — они поражали своим палевым отливом; ежели красовался галстук, — он мерцал подобно слабому отблеску поздней зари; сюртучок — отливал искрой по светлomu полю. Да и все, что окружало Ириней Гуделкина, носило на себе отпечаток какой-то кроткой и меланхолической изящности. Его домик на манер швейцарского шале с одной стороны и рейнского замка с другой; его миниатюрные конюшенки и оранжерейки, подобные картинкам на лакированных китайских подносиках; его причудливая мебель, драпированная материей нежнейших рисунков; его затейливо исполосованный ножницами садик — все навевало какую-то сладкую негу и повергало вас в тихую и немного приторную истому.

И характер этой милой извращенности распространялся даже на мужиков, работни-

ков Иринея. Все они, как на подбор, щеголяли в палевых и голубых рубашечках, лепетали расслабленными и нежными голосами и умывались чисто. Даже собаки в усадьбе Иринея брехали без присущей им грубости, а мягко и деликатно. Самый воздух, витавший над усадьбою, казалось, был переполнен сладостью и задушал ласковым своим благовонием.

Любил я посещать Иринея! Особенно хорошо бывало у него, когда грубая действительность уже чересчур дерзко и аляповато расшевелит твои нервы. Тогда раскрашенные построечки Иринеевой усадьбы, чистый, усыпанный песочком дворик, палевые рубашечки и благоприятные лица рабочих, яркое озеро среди садика и ярко раскрашенный на нем ялик повергали вашу душу в неизъяснимую теплоту. И теплоту эту усугублял сам хозяин. Чистенький, светленький, кроткий, он, блистая свежестью белья и, костюма, сверкая золотом запонок и шикарной цепочки, благоухая тончайшими духами и свежей розой, вдетой в петличку, ласково произносил умиротворяющие речи, мягко и красиво связывал

изящные фразы, тихо и плавно лепетал о поэзии, о любви, об искусстве, — о бедрах Венеры Милосской и о лядвиях Бельведерского Аполлона... И душа ваша, истерзанная жестокой суею, умиротворялась, согревалась, успокаивалась под наитием этой сладкозвучной атмосферы и в конце концов засыпала, как котенок в горячей печурке. Было хорошо, и приятно, и сладко.

Как вероятно и представил себе читатель, Ириной был чистоплотен. Ни как растет хлеб на его нивах, ни как пашут эти нивы и убирают их — он не знал. Для этого был у него человек, Макарыч, — честнейшее и глупейшее существо. Сам же Ириной вечно витал в мире изящнейших представлений и фантастичнейших построек. Чистоплотен он был даже до того, что своими на диво выхоленными руками не прикасался ни к кредиткам, ни к иным каким-либо денежным знакам. Это было дело Макарыча. Ириной же читал книжки, перелистывал кипсэки, перебирал портфели с гравюрами, вел деликатнейшую переписку с двумя или тремя друзьями, людьми высокопоставленными в художественном мире, де-

лал от времени до времени экскурсии в места, известные своею живописностью, и каждый двенадцатый праздник (о наступлении которого докладывал ему Макарыч) устраивал пиршество своей деревне, причем всегда, с лорнеткой в одной руке и с розаном в другой, лебезил около живописных крестьянок.

В нашем краю у Гуделкина не много было знакомых. Соседи по большей части не соответствовали его идеальным представлениям, ибо чересчур уже блистали отсутствием манер. И он был одинок.

Благодаря ли этому, но однажды в его поведении проявилась странность. Явное беспокойство проявилось в его характере. Поступки потеряли свойство невозмутимости, художественное самообладание покинуло, его. Я, подобно многим, стал было в тупик перед таким настроением Иринея, но случай все объяснил мне. Однажды вошел я в кабинет Гуделкина и не застал его. По столам и стульям были разбросаны листы. На каждом было начертано:

Россия погибает!!! Но отчего погибает, вот вопрос. — От недостатка

культуры-ссс!

Далее следовали точки.

Было ли то начало какого-либо глубоко-мысленнейшего трактата или праздное времяпрепровождение оставило здесь следы свои, но для меня стало ясным Иринеево поведение. Его заполонила гражданская скорбь.

Немного спустя он, однако, утешился. Было заметно, что русло им обретено. И он величественно потек по этому руслу. Он, начал насаждать культуру. По-прежнему чуждаясь знакомств с людьми своего класса, он выказал настойчивое стремление к сближению с мужичками. Он перечитал всего Григоровича⁽¹⁾ и вообще все то, что считал идущим к делу, и, во всеоружии проникновения, занялся простонародною душою. Он старательно доискивался в этой душе каких-то струн, которые именовал культурными, и с упорством будил в простолюдинах инстинкты, которые называл благородными инстинктами. Для этого он раздавал мужичкам гравюры иностранного изделия, наделял их цветочными семенами, выписал в местный трактир гармонiuм, изображавший арии из «Лучии Ламермурской»⁽²⁾,

и вообще поощрял красоту во всех ее видах... И кроме всего этого, объявился филантропом. По-прежнему устраняясь от сути хозяйства, он щедро расточал милости свои всем крестьянам околотка. Он воздвиг больницу, нанял фельдшера, устроил школу, расширил размеры пиршеств, задаваемых крестьянам, ссужал их и хлебом, и деньгами, и лесом. И при всем этом соприкасался с мужиком лично. Он не упускал случая поговорить с лапотником о благодетельности культуры, причем иногда вводил этого лапотника даже в дом свой, где и обращал его внимание на удобство люстр и красоту обоев, заставлял его щупать корявыми пальцами шелковые драпри и тюлевые гардины, приглашал любоваться прелестной копией с Гольбейновой Мадонны⁽³⁾, и вообще поставляя ему на вид предпочтительность культуры над свинством и первобытностью. И мужики как бы признавали прекраснодушие Иринея: не было пределов их почтительности и уважения к нему. У них даже выработался особый ритуал приветствий и чествований Иринеевой особы. Понятно, это умиляло великодушного Иринея и как нельзя

более поощряло его к новым великодушнейшим поступкам.

Вот этот-то рьяный насадитель культуры подъехал однажды к крыльцу моего домика и, грациозно выскочив из прелестной венской колясочки, запряженной парочкой прекраснейших вороных лошадок, восторженно воскликнул:

— Новость! Новость! Новость!

И затем предложил мне немедленно одеваться и немедленно же сопутствовать ему.

— Но куда, Иринея Маркыч? — недоумевал я.

— И вы не знаете? О, неужели же вы не знаете, что новый, совершенно же новый человек объявился на Руси, и человек этот в десяти верстах от вашего хутора?!

— Да кто же такой?

— Чудо! Представьте себе: купец, а не рыгает; голову стрижет; чай кушает внакладку; сюртук, вообразите, из английской материи и сшит в Лондоне; говорит по-английски замечательно!..

— А, значит Липатка Чумаков приехал!

Иринея несколько оскорбился, но затем

тотчас же и ослабился.

— Именно Липатка. И вообразите, как приличен, как умен, как дальновиден... Я в восторге! Представьте вы себе хитроумного великороссиянина в лондонском съюте — ведь это шик, батюшка... И теперь у них в семье испытываешь чистейшее наслаждение. Главенствует, знаете ли, коренастая эта фигура патриарха Праксел Алкидыча. Затем приличнейший иностранец Липатка, и потом уже великодушнейшая, широчайшая натура — это сын младший Сергей. Восторг что такое! Я их так и представляю: ум, воля и чувство. Европейский ум, руководимый железной волею и непрестанно смягчаемый чувством. Ах, одевайтесь же, и поедем!.. Вы знаете — в душе я художник и лентяй. Красота идол мой, и в этом отношении человек я античный... Но боже мой, воображение мое теперь переполнено предприятиями!.. И вы не догадываетесь, почему?.. О, ужели же вы не понимаете, — не хотите понять, — что Русь теперь спасена!..

— Но каким же образом, Ириной Маркыч?

Но он не ответил на мой вопрос. Преследуемый какой-то неотвязной мыслью, очевидно

увлекавшей все его внимание, он в волнении бегал по комнате и, нетерпеливо натягивая перчатки восхитительного сиреневого цвета, говорил:

— О, вы не поверите, сколько грандиознейших проектов! Мы, совместно с фирмой «П. А. Чумаков и сыновья», совершенно преобразовываем Дмитрияшевку... Что значит Европа и что означает ум!.. Вы знаете меня, и, конечно, знаете, что никогда и ни на что не посягнул бы я ради выгоды. Утилитаризм мне претит. Но я побежден. Я побежден принципом. Липатка развернул передо мною вереницу принципов. Каждое предприятие, каждый проект, каждая затея коренятся у него на почве, и почва эта — культура... Культура-с! — вот оно, батюшка, словечко! — и он снова многозначительно повторил: — культура! Ах, этим он меня совершенно, совершенно обворожил!.. — Одевайтесь же, едемте, послушайте... Вы знаете, до сих пор я думал, что я плохой патриот, но теперь я, наконец, чувствую в себе сердце гражданина: варварское тело матушки России обновлено теперь, и обновлено Липаткой... Предприятия! Предприятия!..

Наконец я оделся, и мы отправились к Чумаковым.

— О, я давно твердил: Европа, это все! — говорил по дороге Ириной, ни на минуту не уставая от своей восторженности. — Чем покори́л я сердца всех простолюдинов в округности, как не Европой, — ибо сознайтесь же, что филантропия продукт европейский и что гуманностью я обязан опять-таки одной только Европе. Ведь вы знаете, как крестьяне меня обожают. История Проспера и Калибана⁽⁴⁾ вечно повторяется. Я давно говорю: влейте в наши одряхлевшие жилы Европу, и мы спасены...

— Но народ устойчив в своей старине, — возразил я.

— О, пустое! — воскликнул Ириной. — Ведь я же убедил моих работников говорить друг другу «вы», ведь они же спят у меня на простынях, ведь мой староста Лука Петров развел же настурции в своем огороде... Э, ба-тюшка, народ — это глыба, из которой мы, европейцы, вольны изваять Аполлона. И тем более наш народ! Ведь давно известно, что крестьянин наш чистейший космополит. Как

он индифферентен к религии, как равнодушен к национальности и вместе склонен к восприятию чуждой культуры, — это давно доказано. И это трюизм, разумеется...

— Но трюизм ли?.. — попытался было я возразить, но Ириной был уже в полном экстазе: он отчаянно замахал руками и возвысил голос.

— И я, как чистый, как совершеннейший европеец, приветствую Липатку, кричал он, — приветствую потому, что в лице Липатки культура непосредственно соприкоснулась с народом... Купец тот же народ и посетит культурные свои свойства непременно в народе же...

— Но большого ли достоинства эти свойства?..

— О, я, конечно, вижу Липаткины недостатки, и я в свое время подавал проект... Липат односторонен, Липат позитивист, Липат прямолинеен. Я подавал проект: брать восьмилетних мальчиков и на государственный счет воспитывать их за границей: в Англии, в Германии, во Франции... Затем довершить воспитание художественной экскурсией по

Италии, по музеям Дрездена, Мюнхена, Парижа, и человек, в истинном значении этого слова, готов. Человек европеец! — многозначительно воскликнул Иринею и многозначительно же поднял палец, а затем помолчал и с покорностью добавил: — но меня не послушали!

— Но это в сторону! — немного погодя с новою силой продолжал он. — Я все-таки, подобно еврею, одряхлевшему в ожидании, приветствую Липатку: он мой мессия⁽⁵⁾. Он провозвестник культуры на Руси, и это слишком много... Я в последние годы много думал о нашем положении. Я много думал и пришел к тому, что да, действительно мы погибаем... Но отчего погибаем, вот вопрос! — Иринею снова поднял палец.

— Отчего же? — спросил я.

— Погибаем мы от недостатка культуры-с, уважаемый мой. Наводните Россию культурой, и она спасена. По-моему, так: взять и все поколение воспитать за границей. И еще я думал устроить колонии. Среди крестьян, знаете, поселить англичан, немцев, ирландцев даже, и пускай они воздействуют. Вообразите

пустыню и среди пустыни оазисы. Это, впрочем, все проекты. У меня очень много проектов...

— И вы подавали их?

— Меня не слушали. Но это ничего не значит: культура шествует! Что такое Липатка, позвольте вас спросить? Липатка — пророк. Липатка и съют это знамение-с. Прибавьте к этому обширнейший ум, коммерческое образование... Я только теперь ведь понял, какой я в сущности пентюх... Спора нет, и моральное воздействие насаждает культуру, но путь-то этот путь медленный, быстрый же проводник культуры совсем не филантропия и не воздействие-с...

— Но что же, Ириной Маркыч?

Ириной таинственно улыбнулся.

— Предприятия, предприятия... — прошептал он, грациозно прикладывая палец к губам, но не утерпел и, серьезно сдвинув брови, добавил: — Мы заводим фабрику.

— Как фабрику?! Фабрику здесь, в Дмитришевке?!

Он ничего не ответил. Он только с видом торжества кивнул головою и заботливо стал

застегивать пуговочку правой перчатки. Вдали показался и скоро вырос перед нами чумаковский хутор.

Чумаковский хутор изобличал в хозяине и образцового дельца и крупного капиталиста. Ничто не напоминало здесь каких-либо прихотей. Ни раскрашенных яликов на пруду, ни затейливых башенок и мезонинов, ни китайских беседок и романтических гротов вы бы не встретили тут. Но зато все, что вы видели, было крепко, хорошо, пригодно для хозяйственных целей. Два гумна с бесчисленными скирдами, подобно крыльям, облегли немногочисленные постройки. На каждом из этих гумен пытели паровики и многосильные молотилки переполняли воздух тяжким стенанием. В длинном и превосходно выстроенном амбаре, с дверями, распахнутыми настезь, не прерывалась бесконечная вереница скрипучих возов. В стороне, под крепким и свеженьким тесовым навесом, словно артиллерийские орудия на смотре, вытянулись красивые рядами жнейки, сеноворошилки и сеялки. Недалеко от пруда белелась, зияя редкими окнами, новая трехэтажная зерносушилка с це-

лою системою деревянных красных труб на железной крыше. Скотный двор, — здание тоже новенькое и, по-видимому, необычайной крепости, — занимал место за сушилкой. Флигель для рабочих, баня и кухня тоже отличались и новизною и солидностью. Но особенно щеголяли этим хозяйские дома. Их было два, и отделялись они друг от друга узеньким, но чрезвычайно светлым и чистым прудом. Оба были из стройного соснового леса. Их недавно выкрашенные кровли ярко и приветливо зеленели издалека. И оба домика издали чрезвычайно походили друг на друга. Но приближаясь к ним, вы замечали различие. Один отличался целомудреннейшей первобытностью и даже не имел навеса над простыми сосновыми дверями, другой, не говоря уже о навесе, бил в глаза положительным европеизмом. На гладко отполированных дверях его сверкала медная доска с именем владельца. Из притолки скромно выглядывала перламутровая пуговочка электрического звонка. Сквозь зеркальные стекла окон прихотливо извивались ветви дорогих тропических растений и пышные гардины красиво

распростирали искусно драпированные складки.

Мы подъехали к этому домику. На доске сияющие буквы вязью изображали Л. Чумаков. Двери нам отворила краснощекая горничная в шиньоне⁽⁶⁾ и белоснежном переднике. Липатка отсутствовал: он находился на гумне. Горничная тотчас же послала за ним какого-то мальчугана в куртке и зеленых штиблетах, а нас пригласила в комнаты. Там нас встретила совсем уже подлинная цивилизация. Зал с паркетным полом и гостиная, устланная пушистым ковром яркого цвета, обильно украшалась изделиями европейской промышленности и произведениями искусства европейского. На стенах висели картины в золотых рамах, по преимуществу все жанр⁽⁷⁾ да альпийские и рейнские пейзажи. По углам белелись статуи — Диана с гордо приподнятым ликом, стыдливая Афродита... Бронзовые фигуры рыцарей красовались на камине.

Вообще все, что ни встречало нас в апартаментах Липатки, обнаруживало в хозяине привычки просвещенного человека. Об этом вопияли и высокие зеркала в рамках самоно-

вейшего вкуса — тонких и округлых, — и механическое венское фортепиано, и мебель... А когда мы вошли в кабинет Липатки, то изысканные привычки эти предстали пред нами и вовсе воочию. Широчайший мраморный умывальник с целой коллекцией мыла, щеточек и различных притираний; пилки, ножницы и флаконы на резном ореховом туалете; комфортабельнейшая кровать; и вместе с этим целая прорва всяческих приспособлений для письменных занятий: тут можно было писать лежа, там сидя, здесь — стоя... И все-таки вы сразу замечали, что обиталище это, столь удобное для писания, не вмещает в себе какого-либо узкого бумагомарателя. Здесь пахло практиком. Монументальный письменный стол, занявший чуть не половину Липаткиного кабинета, был завален образцами пшеницы и проса, счетами, накладными, прејскурантами, квитанциями, экземплярами «Хозяйственного строителя», и «Земледельческой газеты», приходо-расходными книгами... Чернильница изображала локомотив, пепельница — соху, пресс-папье — мужика за плугом. Над столом в бронзовых ла-

пах торчали телеграммы и письма из Ростова, Москвы, Петербурга, Риги, Кенигсберга и других торговых пунктов, с означением цен на хлеб и на иные продукты степного хозяйства.

С видом жестокого самодовольства водил меня Ириной по обителищу Липатки. Каждая мелочь, имевшая здесь место, казалось, досконально была ему известна.

— Ну, как скажете: чья берлога, купеческая-с? — то и дело спрашивал он меня, самодовольно поглаживая седую бородку свою а la Henri IV[1]. И после каждого такого вопроса я, разумеется, принужден был стыдливо опустить очи мои долу.

— И это в год-с! Один только год прошел, и вы посмотрите, что здесь!.. Ведь прежде вы знали чумаковский хутор: флигель да изба да амбары... И вдруг такое, можно сказать, превращение!.. О, Европа, Европа!.. — И Гуделкин мечтательно вздыхал и, весь сияющий каким-то тихим и теплым, но чрезвычайно радостным светом, неумоимо бродил по комфортабельным комнатам.

— И всего привлекательней: все ведь это

коренится на принципе! восклицал он. — Это не есть одна только дурь, одно эстетическое порывание исключительной натуры, это есть довершение цикла-с... Вот идите сюда и любуйтесь, — он подвел меня к ореховому шкафу, сквозь зеркальные стекла которого ясно блестели золотые заглавия внушительных томов: — Вот почва... Вот вам божественный Мальтус^{8}, вот красноречивейший Леруа-Болье^{9}, вот Гарнье^{10}, Курселль-Сенель...^{11} здесь обстоятельный Мак-Кулох^{12}, тут серьезнейший Буханан... Это его любимейшие. Но вот и старики: Сей^{13}, Смит^{14}, Рикардо...^{15} А тут, на нижней полке, как он говорит, для курьеза собраны: Прудон, Милль с «примечаниями»^{16}, Лассаль... И вы не подумайте что-нибудь — все это проштудировано-с! Ах, как приятно иметь дело с принципиальным человеком... Или вот посмотрите сюда, — и он, подхватив меня под руку, быстро подвел к ночному столику и, опустившись на колени, в каком-то детском восторге начал показывать мне его устройство, — смотрите... Ну, не прелесть ли!.. Вот вам одна необходимейшая вещь... вот другая... третья... Что за удобство! Что за про-

стота!.. Обратите внимание... О, Европа, ба-
тюшка... — и он даже захлебнулся от умиле-
ния.

Но Липат не появлялся, и нетерпеливый
Ириной повлек меня к гумнам.

Гумна эти, как я и сказал, можно было упо-
добить крыльям, облегшим хутор. Подходя к
тому, где находился Липатка, мы влезли на
вал, высоко поднимавшийся вокруг скирдов,
и остановились в восхищении... Далеко во-
круг синела степь. Там и сям пестрели по ней
гурты, выдвигались кусты, круглые как шап-
ки... Хутор, брошенный среди этой бесконеч-
ной равнины, казался особенно веселым и
особенно живописным. Даль замыкалась вол-
нистыми очертаниями старых и почти уже
исчезнувших курганов... И над всем этим про-
стором, захватывающим дыхание, тихо и тор-
жественно опрокинулось теплое, яркое небо.

Липатку мы нашли у локомотива. Он вни-
мательно следил за манометром и от време-
ни до времени выпускал пар. Молотилка вну-
шительно ревела, выбрасывая из своего за-
мысловатого нутра непрерывную массу соло-
мы, источая зерно, чистое и желтое, как воск,

переполняя воздух пылью и мякиной. Большое колесо локомотива важно и равномерно колыхалось. Пар свистел пронзительно и дико. Народ копошился с граблями, вилами, лопатами, мешками... Однообразный гул далеко разносился по окрестности.

Я с невольным и, признаюсь, большим любопытством осмотрел Липатку. Невозмутимый среди суеты, шума и лязга, с пышно надутыми щеками и гордо приподнятым челом, он походил на идола. В течение добрых пятнадцати минут он не сделал иного движения, как только прикасался к рукояти рычага, и не издал звука, помимо отрывочных и кратких приказаний, исполнявшихся с изумительной поспешностью. Наружностью он мало походил на россиянина. Его тучную и крепкую фигуру обтягивала засаленная и, может быть, чересчур узкая кожаная куртка, на манер тех, которые неизбежно напялены на любом машинисте из немцев; голову покрывала фуражка, опять-таки несомненного заграничного фасона: круглая, с пуговкой наверху и с огромнейшим козырьком. Сапоги до колен, панталоны в обтяжку, наподобие гусарских

чикчир, и серые шведские перчатки довершали костюм. Лицо Липатки тоже носило заграничный отпечаток. В нем как-то странно соединились: английское высокомерие, французская бородка и немецкий стеклянный взгляд... Русское же происхождение отозвалось только толстым и добродушным носом, напоминавшим луковицу. А щеки казались искусственно вздутыми, так они были пухлы.

Когда он, наконец, заметил нас и пошел к нам навстречу, то и походка оказалась у него под стать остальному. Ходил он важно и медлительно, точно павлин. Да и вообще держался так, как будто при всяком смелом движении рисковал рассыпаться.

Впрочем, раскланиваясь с нами, он этим риском пренебрег. Поклон вышел низкий и глубокий, и жирная спина его изогнулась смело и решительно. Это производило приятное впечатление.

— Я должен покорнейше извиниться перед вами, почтеннейшие господа, говорил Липатка, округлым жестом снимая и снова надевая свою странную фуражку и с приятностью выпрямляясь. Говорил он плавно и медленно,

как бы наслаждаясь звуками чистого и ровного своего баса. — Я получил извещение о вашем приезде своевременно, но локомотив оказался несколько неисправным, и я должен был — как мне это ни грустно — сделаться неаккуратным.

А Гуделкин неотступно наблюдал за мною. Во всей его фигуре так и напряглось восторженное настроение.

— Что? Каков? — шептал он мне, — это ли не европеец?

Мы пошли по направлению к хутору.

— Где же Праксел Алкидыч? — спросил Гуделкин.

— Папаша?.. Он по некоторым делам направился в местный уездный город. Впрочем, он будет иметь удовольствие сегодня же вечером видеть вас. Вы, конечно, осчастливите меня — ночуете?

Ириной, по совету со мною, ночевать согласился. Поравнявшись с валом, мы снова не утерпели, чтобы не взойти на него и не полюбоваться на окрестность. Солнце, склоняясь к закату, потопляло степь в ярком розовом сиянии. Кровли хуторских построек празднично

блестели, как будто покрытые лаком. Тени от зданий улеглись на траву густыми и длинными пятнами. В воздухе было тихо. Грохот молотилок скрадывался высокими скирдами и доносился до нас слабо и гармонично. В далеких гуртах мелодично звенели колокольчики.

— Что за прелесть эта степь! — восклицал Ириной, беспрестанно прикладывая к глазам изящную свою лорнетку.

— Место очень обширное, — глубокомысленно заметил Липатка и еще пуще надул щеки. — Место очень обширное, но требует агрикультуры, — добавил он немного спустя и важно провел ладонью по правой щеке.

— О, разумеется! — подхватил Ириной, — это прелесть, но это — дичь!

— Все это я подниму плугом и посажу свекловицу, — изрек Липатка.

— Паровые плуги, технические приспособления, машины из Англии? радостно защебетал Ириной.

— Будут-с. Но насчет паровых плугов я имею несчастье быть с вами несогласным, Ириной Маркыч: при той цене на труд, кото-

рая существует на нашем рынке и которой, в виду неравномерных отношений между спросом и предложением, не грозит возвышение — паровые плуги, к сожалению, являются совершенно нерациональными и ненормальными, или, лучше сказать, аномальными.

Ириной несколько озадачился.

— Но ведь это последнее слово науки, Липат Праксельч! — чуть не с ужасом воскликнул он.

Липат снова с достоинством провел ладонью по щеке.

— Совершенно точно изволили выразиться. Но прежде чем эксплуатировать последние выводы науки, мы должны сообразоваться с положением нашего рынка, многоуважаемый Ириной Маркыч, с нашими экономическими и климатическими особенностями.. Имею честь представить вам пример: наш битюцкий плуг сам по себе очень не совершен, но для поднятия новины нет надобности заменять его другим, ибо он, благодаря известным экономическим факторам, представляется наиудобнейшим и наирациональнейшим.

— О да, разумеется! — согласился Ириной и, обратясь ко мне, вполголоса добавил: — Не говорил ли я вам... Чистейший профессор!.. Нет, Европа, батюшка... — И он значительно нахмурил брови.

— Стало быть, и сахарный завод устройте? — спросил я Липатку.

— Устрою-с. Вообще Ириною Маркычу известны мои взгляды насчет капиталистического воздействия... Я буду иметь честь развить эти взгляды... Дело прежде всего в том, чтобы уподобиться странам просвещенным. И смею думать, что некоторым образом и до известной степени я постиг секрет этого уподобления.

— О, Липат Праксельч совершенно постиг этот секрет! — воскликнул Ириной и крепко пожал Липаткину толстую руку.

Но развить «взгляд» на этот раз Липатке не довелось. Он вспомнил, что нужно закусить и переодеться. Мы против закуски ничего не имели. А когда пришли в дом, в столовой уже ждал нас самовар, и длиннейший стол был заставлен яствами. Стеклянные колпаки над блюдами, пикантные приправы, острые ма-

ринады и затейливые консервы с английскими ярлыками и столу придавали чужестранное обличье. Мальчик в зеленых штиблетах суетился около тарелок. Горничная разливала чай. В ее обращении с Липаткой примечалась близость. По всей вероятности, она была настоящей хозяйкой. Но Липатка и с ней держал себя строго и непреклонно и на ее фамильярности хмурил брови. Ему это, видимо, претило. Чтобы образумить ее, он даже возвысил тон. Но Гаша (так звали горничную) понимала его туго.

Наконец, извинившись за свое «холостое» хозяйство и пригласив нас к столу, он удалился в кабинет, откуда добрые четверть часа доносилось до нас шумное фыркание и отчаянный плеск воды. А спустя немного он появился перед нами совершенно преобразованным. Заскорузлая внешность машиниста-немца заменилась теперь полнейшей безукоризненностью. Вместо замасленной куртки его фигуру облекал щегольской костюм песочного цвета, на ногах очутились лаковые ботинки, на блистательном пластроне батистовой рубашки засверкали золотые запонки. И поми-

мо костюма произошло изменение: его щеки надулись пышнее; движения получили большую округлость и совершались медлительней; чело приподнялось выше и являло вид достоинства окончательно уничтожающего, жидкая бородка топорщилась веером и благоухала английскими духами...

За столом не произошло большого разговора. Липат вкратце сообщил нам о своем вояже по Англии и Германии, о заграничных фабриках и чудесах заграничной промышленности, о великолепных свойствах тамошнего рабочего выносливости и терпении, о выставках и грандиозных складах в лондонском Сити... Но когда мы закусили и вышли гулять, Липатка повел разговор длинный и значительный. Обстановка как нельзя более способствовала этому разговору. Дышалось легко и вольно. В желудке ощущалась благоприятная сытость. Солнце только что закатилось, и прохладный воздух был неподвижен и ясен. Тени ложились медленно. Маленькие круглые тучки ярко пламенели над закатом... Мы шли навстречу этому закату. В наши лица бил мягкий золотистый свет. Узкая дорожка,

прихотливо извиваясь вдоль ложбинки, по руслу которой тихо и мелодично журчал ручей, вела нас к далеким курганам.

Липат с достоинством опирался на толстую трость с набалдашником из слоновой кости и, тяжело и важно отдуваясь, говорил неумолчно. В сером плаще с огромнейшей перлеринкой, в серой широкополой шляпе — он мне напоминал моль. А Ириной восторженно семенил ножками, играл лорнеткой и издавал одобрительные восклицания.

— Позвольте иметь дерзость предложить вам один вопросец: принадлежите ли вы к числу русских, желающих возвысить свое отечество до Европы и ради этой благотворной цели не щадящих никаких средств? — спросил меня Липатка, когда мы только что вышли из дома. И с этого вопроса, вызвавшего нерешительный ответ мой: «Принадлежу, но частично...», началось его словоизлияние.

Именно — словоизлияние. Он не говорил, а наводнял ваш слух непрерывным и скучным ручейком обстоятельнейших словес. Длиннейшие периоды, затейливейшие предложения, витиеватейшие фразы размеренно

шествовали друг за другом, бесцветные как вода, сухие и безжизненные. Я не решусь, конечно, досадить читателю подлинной Липаткиной речью, но суть этой речи настолько все-таки интересна и настолько поучительна по своему воздействию на моего приятеля Иринейя, что стоит ознакомления.

Липатка исколесил всю промышленную Европу из конца в конец и пришел к тому выводу, что культура для России необходима.

— Не говорил ли я! — воскликнул Иринейя.

Но Липатка думает, что водворена эта культура может быть лишь тогда, когда современный крестьянский строй упразднится.

— Непременно упразднится! — с видом гордости воскликнул Иринейя.

Это трудно. По мнению Липатки, «нужно в эту массу всяческого невежества и стародавнейшей рутины вбить железный клин, который массу эту мог бы расколоть сверху донизу...»

— Великолепнейшая образность! — в скобках заметил Гуделкин.

Этот клин — фабричное производство.

— Вот оно! — произнес Гуделкин, толкнув

меня в бок.

Фабричное производство обособит личность, разовьет в народе культурные идеалы...

— Замечаете? — не унимался Ириной.

...Возбудит соревнование. И, в конце концов, посредством разложения варварской общины, — место которой, конечно, в земле кафров каких-нибудь, выделит индивидуализм, совершивший столько чудес в Западной Европе. Вот, по мнению Липатки, единственный путь для водворения культуры...

И затем он перешел к частностям; он начертал картину края, в котором, вместо первобытной эксплуатации «даров природы», вместо жалкой сохи и не менее жалкого плуга, воцаряется машинное производство. Фабрики и заводы перемежаются фермами и полями с интенсивным хозяйством. Все продукты получают на месте окончательную обработку: лен вывозится в виде полотна, семя — в образе олеина, кожа поступает на чемоданы и лаковые пояса, из собачьих шкур выделяется лайка, тимофеева трава вывозится в виде бычьего мяса, мука и просо вгоняются в

свинью... Мужик щеголяет в ситцевой рубашке, при постоянном желании приобрести полотноную (это «постоянное желание» Липатка подчеркнул), бабы носят козловые ботинки и мечтают о шагреновых («мечтание» тоже подчеркнул). Фабриканты заводят школы. Дети бегают в кумаче и хором поют славословия. В избах появляется олеография, и лампа вытесняет «гасницу». Агрикультура свирепствует и производит баснословные урожаи. Община разрушается. Из ее оков, великодушно расторгнутых капиталистом, выплывают на свет божий таланты, способности, дарования... Частные хозяйства процветают благодаря машинному производству и наплыву батраков. Но батракам дают жирные щи и кормят их по праздникам пирогами... Купец облачается в сьют и штудирует Леруа-Болье. Дворянин служит искусству и образует собою предмет для назидания. Ликующие чувства господствуют и производят гражданственные поступки. Все благополучно.

Мы добрых три версты отошли от хутора, когда, наконец, Липатка умолк и с сознанием

собственного своего великолепия важно закурил сигару. Курганы были недалеко. Мы взойшли на один из них и остановились. Сесть было невозможно: появилась роса. Но отдохнуть и стоя было приятно. Кругом широко разбегалась степь. К востоку она исчезала, незаметно сливаясь с синим небом; на западе замыкалась лесом и рекою. Это все была чумаковская степь. Битюк, светлый и тихий, неподвижно алел сквозь просеки, явственно отражая сонные ветви орешника и молодых кудрявых дубков. За Битюком шли луга, низкие и пологие, а за лугами темными и волнистыми уступами громоздился гористый берег.

День угасал. Тучки, еще недавно пламеневшие так ярко, теперь пожелтели как янтарь и сиротливо повисли в бледном небе. Сумерки надвигались быстро и настойчиво. В вышине загорались звезды. Золотистое сияние зари медленно умирало. Гуртовщики развели костры. Тихие огоньки замелькали в окнах хутора. В сонном хуторском пруду и эти огоньки и высокие, ранние звезды отражались ясно и мечтательно.

Мы долго стояли и смотрели в глубоком

молчании на окрестность, заполняемую сумраком. Наконец Липатка бросил сигару и торжественно поднял свою трость.

Место обширное, но требует агрикультуры! — воскликнул он и затем распространился в мечтаниях. Все, что доступно глазу, он распашет под свекловицу. Около пруда выстроит сахарный завод. На Битюке устроит лесопильню. Разыщет торф в своей даче. В Дмитряшевке откроет фабрику крестьянских мануфактурных изделий. («Да, да... непременно фабрику!» лепетал Ириной, обнимая взором потускневшие дали.)

— Мы революционеры! — в пафосе восклицал Липатка, и его растопыренный плащ с пелериной, подобной крыльям, странно выделялся на палевом фоне заката, — мы революционеры, но революционеры тишайшие... Вместо крови у нас золото, вместо марсельезы — грохот машины, вместо мерзкой и отвратительной гильотины у нас — конторка из ясеневоего дерева... Но наша революция будет подействительней многих... Те несли разрушение, мы успокоение несем... Те проповедовали самоотвержение, мы же одного толь-

ко желаем — себялюбия, и на этом одном камне воздвигнем здание...

И снова повторил, что необходим «железный клин». Это сравнение ему, видимо, нравилось. А когда Ириной разомкнул, наконец, уста свои и робко заметил, что ему кажется необходимым и моральное воздействие, он объяснил, что воздействие это непременно будет. Оно пойдет рука об руку с капиталистическим. Богатство располагает к благодушию. И вот отсюда полная готовность помочь бедняку. Богатство же достижимо только при машинном производстве. Тогда только и искусство может процветать. Картинные галереи, коллекции редкостей, драгоценные произведения скульптуры, обширные библиотеки и музеи — все это мыслимо только при накоплении. Философия состоит в том, что машинное производство, выдвигая на сцену индивидуализм и возбуждая страстную погоню за личным благосостоянием, вместе с тем содействует «накоплению», а, следовательно, и вящему развитию культурных поползновений. В этом вся штука. Идеалы вгоняются механически: хочешь не хочешь. Порядок ве-

щей ясен и логичен, как простое извлечение кубического корня.

Когда мы возвращались, с хутора послышалась песня. Унылым и протяжным стоном повисла она над степью и оборвалась вдали жалобным эхо...

— Экие песни глупые! — проворчал Липатка, обрывая речь.

— Монотонные песни, — добавил Гуделкин.

— Дичь! — произнес Липатка.

— Глушь и необразованность, — сказал Ириней, внезапно разгорячился и закричал: — Нет, вы представьте себе — выписал я им гармониум: «Лучию» играет... а!.. Ну, привыкай же, наконец!.. Ведь и там горе общечеловеческое, можно сказать; но вместо того нет же там однообразных завываний... Помните спор с флейтой? — Он на мгновение закрыл глаза и в истоме произнес: — Ах, Патти, Патти!..

Песня прозвенела долгой и скорбной нотой и печально замолкла. Вместо нее, где-то в степи, бойко и дробно задрезжали жилейки.

— Что за звуки! Что за мотивы! — в отчаянии воскликнул Ириной.

Липатка с достоинством погладил ладонью щеку.

— Мнение мое таково, — изъяснил он, — негодование бесполезно. По моему мнению, действие имеет несомненное предпочтение перед выражением чувствований. При надлежащем развитии индивидуализма, что, в свою очередь, возможно только при господстве капитализма и при его воздействии на экономический и этический строй гражданственности... — И он досказал, что личность, развивши свои способности в борьбе за существование и отведавши культурных благ, непременно разовьет и эстетические свои вкусы, и тогда переход от «Лучинушки» к «Лучии Ламермурской» явится неизбежным.

— Да, да, да! — в каком-то сладостном изнеможении лепетал Ириной, пораженный Липаткиной логикой и несказанно осчастливленный этим поражением... — Да... именно — неизбежным!.. Именно — разовьет эстетические вкусы...

— Вы извольте вообразить себе вашу

Дмитряшевку в периоде капиталистического производства, — вещал Липатка, — тщетно теперь воздействуя на мужичков благородными поступками своими, прямо для вас убыточными, вы тогда, одним присовокуплением капиталов ваших, согласно закону накопления, водворите в Дмитряшевке Европу. Каждый мужик будет знать тогда, во что ценится его труд, приложенный в такой-то пропорции, и как велико благосостояние, купленное ценою такого труда. Каждый увидит преимущество познаний и обособленности. Каждый будет стремиться к этому... Я имел уже удовольствие докладывать: мужик, надевая каждодневно ситцевую рубашку, каждодневно же о полотняной мечтать будет. А в этом мечтании есть уже зачаток непрерывного преуспевания. Революционные стремления в мужике неизбежны. Нужно поработить их и утилизировать. Необходим баланс. Но в том и состоит задача культурных людей... Нужно отнять от этих революционных стремлений характер стихийности; нужно обходить их, дифференцировать, формулировать во образе мирной, единоличной борьбы за существова-

ние. Не запряги мужика в ярмо культуры — он, смею изъяснить, самую культуру эту расстреплет наподобие ветхой, продырявленной тряпки, и от России-матушки останется пшик!.. — И Липатка дунул на кончики своих пальцев.

Дело было ясно как день.

Когда мы пришли, старика Чумакова еще не было. Липат усадил нас в уютной гостиной, приказал подать туда бутылочку «шартреза» и заставил мальчика в штиблетах вертеть ручку рояля. Сам он с обычной вежливостью извинился и ушел в контору рассчитывать рабочих. Мы остались одни. С высокого потолка светил нам розовый фонарь; в открытые окна глядели звезды, и степной воздух непрерывной струею врывался в комнаты; причудливые листья растений тихо колебались от этой струи и производили слабый шорох; обворожительные звуки вальса из «Фауста» медленно и мелодично замирали...

Ириной окончательно разнежился. Забравшись совсем с ногами на мягкое канапе и обстоятельно смакуя зеленоватую влагу «шартреза», он наяву отдался грезам. Вместе с тем

отсутствие Липатки как будто придало ему бодрости. При нем он не дерзал на многое: Липаткины познания его подавляли. Но теперь... О, как преобразуется Дмитряшевка, когда они заведут в ней фабрику. Он дает деньги и землю для постройки, Липатка применяет свои знания. Дивиденд пополам. Правда, Дмитряшевку придется заложить для этого, и он думает это сделать в обществе взаимного поземельного кредита — это самое солидное, но зато какие несомненные выгоды и какая великая польза!.. Главное польза!.. (Тут он сладостно зажмурил глаза и медлительно втянул в себя ликер, после чего прищелкнул языком и снова налил полрюмки.) Он так рад, что не бесследно прошла его жизнь! Он так счастлив, что, в пору всеобщей сумятицы и всеобщей апатии, ему доведется указать путь многострадальной России, — путь верный и прямой. Вместо мрака — свет, и даль окаймлена лазурью. И он снова отпил из своей рюмки и, разводя рукою в такт меланхолического вальса, развернул предо мною картину будущей России. Беленькие домики, асфальтовые кровли, зеленый плющ, розы и георги-

ны в палисадниках, тучные стада, краснощекие поселяне... И светлые крылья культуры, как крылья ангела, реют над бесконечными русскими равнинами. Скорбные песни исчезли, их заменили арии. Пастухи, вместо жилек, играют на кларнете. Грациозные хороводы пляшут под звуки флейты. Грохот бесчисленных машин сливается в одном грандиозном ритме и с самых ранних лет приучает крестьянское ухо к музыкальности. И водворяется золотой век...

А розовый свет фонаря все так же мягко и фантастично обливал комнату, оставляя в полумраке стены, обитые малиновым трипом... Причудливые листья чужеземных растений все так же размеренно и странно колыхались и лепетали, цепляясь друг за друга... Мечтательные звуки вальса все так же врывались к нам грациозною толпою и так же печально угасали... Липатка пришел поздно. Он сообщил, что папаша приехал, но несколько не в своем виде, и, посидев немного, удалился, пожелав нам спокойной ночи. Тут же, в гостиной, приготовили для нас постели. Свежее белье с тонким запахом сена, прохлада и тиши-

на скоро на нас подействовали: мы заснули. Я видел во сне белые домики с остроконечными аспидными кровлями, видел длинные листья странных растений, колеблющихся важно и размеренно. Фантастическое солнце било в глаза розовым светом, и печальные звуки «Фауста» уплывали вдаль рыдающей вереницей...

Не знаю, сколько спал я — меня разбудил Ириней. Я взглянул на него и вскочил в испуге. Бледный свет проникал в окно и озарял его лицо, искривленное скорбью и гневом. Он крепко сжал мою руку и сказал:

— Тише... смотрите и слушайте!..

Я придвинулся к окну. На балкончике горела лампа с матовым шаром и разливала вокруг свет, подобный лунному. Около столика, накрытого салфеткой, сидели Чумаковы — Липатка и Праксел. Старик тяжело наклонился над столом, тыкая неверной рукою в тарелку с селедкой и беспрестанно икая. Он был в ситцевой рубаше, подпоясанной ремешком, и в неуклюжих валеных сапогах. Широкая спина его выпукло обозначалась сквозь тонкий ситец. Перед ним возвышался графин с вод-

кой и две рюмки. Липатка, без сюртука и жилета, сидел напротив отца, непринужденно посасывая сигару, и от времени до времени, с присущим ему достоинством, поглаживал свои пухлые щеки.

— Дока ты у меня, Липатка... дока, пес тебя слопай! — заплетающимся языком говорил старик. — Ну только не заносись, прямо говорю... не заносись...

Последовала пауза и медленное искание селедки.

— Ты сын мне, а? Как ты насчет этого понимаешь?.. — продолжал старик, поймавши, наконец, кусок селедки и с угрожающим видом потрясая им в воздухе, — а?.. Сын... И поэфтому поступать должон!.. — Он икнул и перекрестил рот. — Ты как понимаешь? Покорайся!.. Ты знаешь: отцам да повинуются, а? Это где показано?.. В писании, дура-ак, в писании...

Он поникнул головою и вдруг прослезился.

— Алипат Пракселыч!.. Друг!.. Я ведь понимаю, я все понимаю... Ты думаешь, как я есть мужик сиволапый и поэфтому самому понятиев лишен?.. Не-э-эт, голубь, я понимаю... Я

могу... Я все могу! Все могу! — внезапно возопил он благим матом и жестоко ударил по столу кулаком, но затем тотчас же стих и продолжал умиленно: — Ежели баринишку этого опутать... Гуделку этого!.. (Иринья передернуло) так это довольно даже обнаковенно... Но наипаче старайся протурить его с наших местов!.. Друг!.. Я еще во каком махоньким понимал ихнего брата... И с того произошел!.. — Он горделиво приосанился. — И ты не заносись... Ты отцу кланяйся: отец не оставит, отец на путь наведет... Разве я не понимаю нынешних делов? Ошибаешься, друг... Очень даже я их хорошо понимаю... Вникаем, голубь... Мы мужики, а вникать — вникаем!.. И прямо я тебе скажу: нынешние дела — дела звонистые. Ты это понимай... Имей опаску, говорю... Я ведь недаром в немецкие-то земли заслал тебя, капиталец-то уходил изрядный... Ты это чувствуй!..

Он выпил, утерся рукавом и, все более и более впадая в назидательный тон, продолжал:

— Наипаче не прошибись, говорю... Времена опасные... Времена такие — в лесу свет-

лей!.. — И, заметив легкую улыбку на лице Липатки, рассердился. Ты думаешь, старик пьян?.. Ты полагаешь, старик зря мелет?.. Врешь, Липатка!.. Я в своем доме хозяин!.. — Он попытался подняться, но не смог. Ты что — ты щенок! Как об тебе понимать, а? Ты чей?.. Где твои капиталы?.. Что по Немецкине-то гулял, это еще не штука... Не шту-ука, малый!.. А ты покажи-и... Ты нам на де-еле... Какие такие твои расчеты, а? Выкладывай... А мы и обсудим нашим мужицким разумом... — Он спесиво разгладил бороду и важно развалился. — Мы и разведем!.. Мы серые... Мы глупые... а ты умник!.. Ну-ка, умный... Выкладывай... Ты как насчет фабрики полагаешь?.. Нет врешь, не пья-ян... — И сердитым движением руки он отстранил и рюмки и закуску.

Липат посмотрел на свои выхоленные ноги.

— Я имел уже честь... — начал было он.

— Чево-о? — брезгливо остановил его отец, — ты мне, брат, не финти!.. Ты брось выкрутасы-то эти, я ведь не Гуделкин... Ты начистоту мне выкладывай: ум-то у меня мужицкий, прямой!.. — И он решительно выпрямил

свою широкую спину и положил на стол крупные волосатые руки.

Ириной сделал мучительную гримасу.

Липат несколько оживился.

— Вы, папаша, довольно равнодушны...

— Не финти, говорю!.. — действительно и грозно повторил старик.

И благодаря ли этой настоятельности, но Липат действительно перестал финтить. Кратко и сжато обрисовал он старику положение дел. Народ бедствует и голодает. Земли истощены. Население прибывает и дробит наделы. На миру идет разладица. И самый раз дать мужику работу. Он пойдет за всякую дешевку, особенно зимою. Работник он не чета немецкому: нет в нем привередливости, не запросит он лишнего четвертака на сосиски, не устроит стачку, не будет хлопотать о сбавке рабочих часов. Человек он выносливый и терпкий. Да к тому же, можно будет и уряднику отвести квартиру на фабрике. Все страху больше. А между тем сбыт тоже обеспечен. В земледельческой полосе фабрик совсем нет, а потребность в ситцах растет. Краснорядцы богатеют. Народ балуется. Щегольство одоле-

вает всех. Труд дешев. Начальство благопритствует.

И чем больше говорил Липатка, тем опускалась все ниже и ниже спесивая голова Праксела и тем ласковей и добродушней становился его лик.

— Так, так... — лепетал он сладостным шепотом, умиленно поглядывая на Липата, — так... утрафил... попал... дока, пес тебя слопай!..

А Липат не унимался. Он оживился, и глаза его заблистали, язык утратил свою деревянность и работал с живописностью... Он настоятельно указывал отцу на необходимость расширить дело, завести сношения с Лондоном и Кенигсбергом, устроить в Воронеже контору с английской обстановкой молчаливыми писцами и накрахмаленным кассиром, — придать фирме европейское обличье, затеять в степях интенсивное хозяйство, нанять батраков, упразднить отрядные наемки... Он, рядом убедительных и простых фактов, доказывал отцу, сколько теряется оттого, что нет непосредственных сношений с иностранными фирмами и что всякий продукт

лезет за границу в первобытном виде. И когда Праксел, ошеломленный цифрами, отуманенный смелыми предположениями Липатки, обругал его и обозвал «ветрогоном», тот даже разозлился. «Вы слепцы!» — кричал он. — Весь край можно бы заполнить и опутать одной сетью. Деньги — пустое: они всегда найдутся. Нашлось бы дело. Банки затрещат от английских стерлингов и немецких марок, если только отец послушает Липатку. Дворянство издыхает, мужик путается; начальство благосклонствует... Трудно вообразить более подходящее время! Нужно скупать землю, брать ее на аренду, заводить фабрики, устраивать конторы для ссыпки хлеба, открыть широкий кредит господам помещикам...

— Не миллион — десятки миллионов запляшут по нашей дудке!.. восклицал Липатка.

И старик теперь уже не прерывал его. Он потирал руками и беспомощно хихикал. Липаткины грезы неодолимо встали пред ним и до конца заполонили его мужицкое воображение. И когда Липатка кончил, он только произнес: «Выпьем, Липатушка!» — и смачно расцеловал великолепное свое детище.

— Ну, а как же, Липатушка, Гуделку нам вытравить? — сказал он после выпивки, плутовски прижмуривая осоловевшие глаза.

Липатушка только усмехнулся.

— Кредитец ему открыть, — ответил он, — кратковременные ссуды... И притом Иринею Маркычу, по всей вероятности, надоест фабричное дело, а ликвидировать его — опять нужно капиталец. Дело простое — борьба за существование!

— Хе-хе-хе... хорошее ты слово сказал, Липатушка!.. Не возьму я его в толк, а хорошее оно слово... Вот словами-то ты его этими одолевай... Лясами-то!.. Господин — в нем прежде всего струна есть... И как ты его за эту за струну дернешь — бери голыми руками... Дается он... Очень даже хорошо дается!.. Ох, падки господишки до лясы!.. Ежели по совести говорить, баба да лясы — весь живот ихний... — И он погрузился в мечтание. — А что, Липатка, бабу бы ему... а? Гашку бы...

Липат отрицательно покачал головой.

— О? Не примет, думаешь?.. Ну, как хочешь. А хорошо бы... Я тебе вот что скажу, Липатушка! — Старик наклонился к сыну и та-

инственно заговорил: Востра была к этому делу мать твоя покойница, царство ей небесное. — Он благоговейно перекрестился, — их, угар была баба!.. Бывало, так опутает моргнуть не управишься!.. Графчика раз приспособила... Эх!.. Выпьем, упокой господи ее душу!.. — И тоном авторитета добавил громко и внушительно: Больше из книжек их осаживай... Осаживай из книжек, и шабаш!.. Тебе бог дал — действуй... — И затем усмехнулся пьяной улыбкой. — Ах, Гуделка, Гуделка!.. Ведь ишь фабрикант выискался... Фу ты, ну ты!.. Ну-ка, выпьем, Липатушка... Вижу, произошел ты у меня... Исполать, детинушка! — И после некоторого молчания добавил: — А что ежели фортуплясы запустить?..

Но Липат отговорил его, представляя на вид наше сонное состояние. Старик махнул рукою.

— Ну ладно!.. Обдери их совсем... Пусть дрыхнут... — и добавил со смехом, — мы их еще рано освежаем!..[2] Явлюсь к ним уже — пословоохочусь...

Ириня была лихорадка. Уткнувшись лицом в подушку, он щипал короткие свои во-

лосики и ругался. Старика Чумакова, уже окончательно рассолодевшего, увели спать. На балконе остался Липатка. Долго сидел он и неподвижно смотрел на небо. (В небе ходили тучи и редкие звезды мигали тускло и трепетно.) Наконец самодовольно выпрямил стан и, закинув жирные ноги свои одна на другую, важно воскликнул:

— Гаша!

На этот зов явилась горничная. Остановившись у порога, она спрятала руки под передник и вымолвила робко:

— Что прикажете, Алипат...

— Говорите «сударь», — внушительно прервал ее Липатка.

— Что прикажете, сударь, — повторила Гаша.

— Замечаю я в вашем поведении несообразности...

— Я, кажись, ни в чем не повинна, Алипат Праксельч...

— Зовите — «сударь». И я не досказал — вымолчите, — в скобках заметил Липат. — Замечаю несообразности. Сегодня за столом вы мне осмелились сказать «душечка».

Он вперил в нее тяжелый и пристальный взгляд.

— Ей-богу как влюблёмши в вас, сударь...

— Молчите. Вы — горничная. Ваше поведение я не одобряю.

Гаша внезапно обиделась.

— Что ж вы попрекаете, — заговорила она, всхлипывая и глотая слезы, ежели я родила, так окромя греха вам, Алипат Пракселейч...

— Ну, ну... — поспешно возразил Липат и, скорей шутливо, чем грозно, заметил: — Я тебе сказал — «сударем» зови! — но тотчас же снова напустил на себя важность: — Не кукситесь. Подите разденьте меня... И обратите внимание: ваши манжеты сегодня необыкновенно грязны. Я терпеть не могу грязных манжеток.

Он тяжело поднялся и подошел к Гаше, снисходительно потрепав румяную ее щечку. Нужно было полагать, что этим он изъявлял прощение. По-видимому, так поняла это и Гаша: она подобострастно поцеловала жирную Липаткину руку и отерла слезы.

— Каков гусь!.. — сказал мне Ириной.

— Европейец, — заметил я.

— Н-да, европеец... — саркастически произнес Гуделкин и порывисто завернулся в одеяло.

Наутро приятель мой являл вид печальный. Его бородка а la Henri IV торчала без всякой бодрости. Лицо осунулось и пожелтело. И вообще он походил на воробья, мокрого и сконфуженного. Отказавшись от завтрака и чая, он приказал подавать экипаж и на все разговоры Липатки отвечал односложно и сухо.

Погода соответствовала скверному состоянию Иринеева духа. Дождь пошел еще ночью, и теперь над степью плавали скучные, серые тучи. Мокрые галки торчали на крышах. Густая черная грязь прилипала к колесам экипажа. Лошади тяжело сопели и обливались потом. Даль хмурилась. Рев молотилок отдавался глухо и тоскливо. Хутор казался мрачным.

Иринея, завернувшись в плащ по самый подбородок, печально выглядывал из-под шляпы. Он походил на Гамлета.

Когда чумаковский хутор скрылся из вида, я заговорил. Но Иринея не ответил мне. Только спустя добрых полчаса он в каком-то раз-

думье произнес, медленно и горько:

— Какая же это культура, наконец?

— Вы насчет чего? — осведомился я.

Он помолчал, по-видимому что-то соображая, и затем повторил:

— Нет, какую же культуру подразумевал этот — гусь?

Я пожал плечами. Ириня вдруг как бы осенило.

— Помилуйте! — воскликнул он, — это не культура, а разбой... Естественнейший разбой!

И после этого опять поник и пребывал долго в грустном молчании, а затем внезапно воспрянул и, с скорбной улыбкой на устах, произнес:

*...К чему упрек? Смиренье в душу
вложим
И в ней затворимся — без желчи,
если можем...*

Тучи плакали и нескончаемой вереницей тянулись над степью.

Немного спустя Гуделкин заложил-таки Дмитряшевку. Но он не завел фабрику — он устроил крестьянам блистательный обед, на

котором, говорят, была даже спаржа, и укатил в Швейцарию. Там, в Vevey[3], проживает он и доньне.

Примечания

1

Наподобие Генриха IV (*франц.*).

[^^^]

2

Снимем шкуру. (*Прим. автора.*)

[^^^]

3

Веве — город в Швейцарии.

[^^^]

Комментарии

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — русский писатель. В повестях «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847) правдиво изобразил жизнь крепостных крестьян.

[^^^]

«*Лучия Ламермурская*» — «*Лючия ди Ламмермур*» (1835) — опера Гаэтано Доницетти (1797–1848), популярного итальянского оперного композитора. В 1859 году в роли Лючии дебютировала А. Патти, знаменитая итальянская певица, выступавшая в Петербурге и в Москве.

[^^^]

Гольбейнова Мадонна — картина «Мадонна бургомистра Мейера» (1525–1526), принадлежащая кисти Ганса Гольбейна Младшего (1497–1543), выдающегося живописца и графика эпохи Возрождения.

[^^^]

4

Проспер и Калибан — действующие лица «Бури» (1611), пьесы Вильяма Шекспира.

[^^^]

5

Мессия — в иудаизме «спаситель», который якобы должен быть послан богом с целью уничтожения зла на земле.

[^^^]

6

Шиньон — накладка из волос, бывшая в моде в 50-х годах XIX века.

[^^^]

Жанр. — В изобразительном искусстве термин «жанр» употреблялся для условного обозначения бытового жанра. Жанрист — художник, изображающий современный ему быт.

[^^^]

Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский реакционный буржуазный экономист, священник. Для него, по словам К. Маркса, «характерна глубокая низость мысли» (К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. II, М., Госполитиздат, 1957, стр. 110). Согласно «теории» Мальтуса, не экономические условия капитализма вызывают перенаселение и нищету трудящихся, а коренящийся в самой природе абсолютный недостаток средств существования. По мнению Мальтуса, производство средств существования увеличивается лишь в арифметической прогрессии, а рост народонаселения происходит в геометрической прогрессии. Согласно своей человеконенавистнической, звериной философии, Мальтус оправдывал войны и эпидемии, рассматривая их как средство сокращения численности населения.

[^^^]

Леруа-Болье — вероятно, Леруа-Болье Пьер Поль (1843–1916), французский экономист, по своим политическим взглядам либерал, автор целого ряда работ — в частности, руководства по финансовой науке, книг «Рабочий вопрос» (1872), «Исследования экономические, исторические и статистические по поводу современных войн» (1869) и многих других. В сочинении «Коллективизм» Леруа-Болье с ожесточением выступил против Карла Маркса.

[^^^]

Гарнье Жозеф (1813–1881) — французский экономист, в вопросе о народонаселении примыкал к Мальтусу.

[^^^]

Курсель-Сенель Жан Густав (1813–1892) — французский экономист, поборник индивидуалистических идей.

[^^^]

Мак-Куллох Джон Рамсей (1789–1864) — английский экономист, профессор политической экономии в Лондоне, один из представителей «вульгарной» политической экономии.

[^^^]

Сей Жан Батист (1767–1832) — французский буржуазный экономист, родоначальник «вульгарной» политической экономии.

[^^^]

Смит Адам (1723–1790) — один из крупнейших представителей английской классической буржуазной политической экономики. Карл Маркс характеризовал Смита как «обобщающего экономиста обобщающего периода» («Капитал», т. 1, 1955, стр. 356).

[^^^]

Рикардо Давид (1772–1823) — выдающийся английский экономист, в трудах которого нашла свое завершение классическая буржуазная политическая экономия в Англии. Главное произведение Рикардо — «Начала политической экономии и податного обложения» (1817).

[^^^]

«Милль с примечаниями». — Н. Г. Чернышевский в своих примечаниях к главной экономической работе Дж. Ст. Милля — «Основания политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии» подверг блестящей критике его экономические воззрения.

[^^^]